



# НИКОЛАЙ ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ СТУДЕНТЫ

Семейная хроника

Николай Гарин-Михайловский  
**Студенты**

«Public Domain»

1895

## **Гарин-Михайловский Н. Г.**

Студенты / Н. Г. Гарин-Михайловский — «Public Domain»,  
1895 — (Семейная хроника)

«Студенты» (1895 г.) - третья повесть автобиографической тетралогии Н.Г.Гарина-Михайловского. Прослеживая дальнейшее становление характера своего героя - Артемия Карташева - автор дает в «Студентах» широкую картину жизни, быта и настроений студенчества.

# Содержание

I	5
II	9
III	10
IV	11
V	19
VI	21
VII	24
VIII	25
IX	28
X	31
XI	33
XII	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

# Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

## Студенты

### I

– Один ксендз исповедовал одну молодую даму... Она призналась ему, что изменила мужу... Он прочел ей суровую нотацию... Кончив, он спросил ее: «Кто же ваш обольститель?» Она назвала имя его начальника. Тогда ксендз заговорил: «Лестно, лестно, это даже очень лестно...»

Карташев заерзал на стуле, изображая ксендза...

– Тёма?!

Действие происходило в деревне у Карташевых в столовой во время обеда. Мать Тёмы, Аглаида Васильевна, положив нож и вилку, смотрела на сына, но тот предпочитал в это время смотреть в раскрытое окно в сад, там, в саду, была тень и было солнце, было весело, как только может быть весело летом в деревенском саду, так же весело, как было теперь на душе Карташева, и мысль, что он успел-таки рассказать то, что вдруг подвернулось ему на язык, еще больше веселила его.

Корнев, гостивший опять у Карташевых, не мог удержаться от улыбки, глядя то на глуповато-довольное лицо приятеля, то на огорченно-строгое лицо его матери. Он улыбался, хотя в то же время и старался, чтоб Аглаида Васильевна не видела его улыбки и тем не рассердилась на сына еще больше. Наташа кончила есть свое жаркое и равнодушно-задумчиво смотрела пред собой. Ее лицо как бы говорило: не стоит обращать внимания на Тёмины глупости, а только жаль, что он с каждым днем делается все меньше похожим на того идеального Тёму, которого она так любила когда-то.

И Аглаида Васильевна, точно прочитав мысли Наташи, принимаясь за прерванную еду, заметила с горечью:

– Было время, я мечтала, что из моего сына выйдет Вальтер Скотт...

– А вышел просто скот, – ответил Карташев в тон матери и уныло-комично опустил голову.

Удержаться было нельзя: все рассмеялись, и даже Аглаида Васильевна, улыбнувшись, произнесла:

– Это только потому хорошо, что верно.

– Да, скотина порядочная, – сказал весело Корнев и сейчас же прибавил: – Прошу извинить за выражение... Такие господа, как Тёмка, невольно выводят из рамок приличий... Гм! Гм!

– Все вы хороши, – ответила Аглаида Васильевна. – Я часто думаю... Мне даже раз сон приснился: будто масса молодежи... и все такая прекрасная, и я говорю: «Господа, столько прекрасной молодежи, а где же хорошие люди?»

– Да, хороших людей мало, – согласился Корнев. Когда обед кончился и все встали, Корнев запел:

*Быстро молодость промчится.  
Так не лучшие ли пока  
Жизнью вдоволь насладиться:  
Жизнь ужасно коротка.*

– Это откуда? – поинтересовалась Аглаида Васильевна.

– Из «Прекрасной Елены», – предупредительно ответил Корнев.  
Аглаида Васильевна махнула только рукой и пошла к себе.

Это был последний обед перед отъездом из деревни сперва в город, а затем и в Петербург.  
Под вечер в последний раз собрались прокатиться в степь.

– Тёма, поедем верхом, – предложила Наташа.  
– Я верхом не поеду, – решительно заявил Корнев.  
– Я не вас и зову.  
– Я согласен, – ответил Карташев.

Наташа поехала на своей Голубке, Карташев на Орлике.

– Хочешь, поедем в Криницы... – предложил брат. – Может, Одарку увидим... Как странно: Одарка замужем...

– Хорошо... Маму надо спросить...

Аглаида Васильевна разрешила, и брат с сестрой поехали в Криницы.

Солнце садилось. Орлик избалованно шел полурывью, и Карташев, зная, что мать наблюдает за ним из экипажа, с красивой посадкой, рисуясь и маскируя это, лениво щурился в ту сторону, где сверкали пруды Криницы. Наташа, худенькая и грациозная, держала себя просто и естественно.

– Зачем ты все хочешь увидеть Одарку? Ты говорил, что она тебе больше не нравится? – спросила его сестра.

– А может быть, она мне опять понравится?  
– А если бы понравилась, ты стал бы за ней ухаживать?  
– Я не знаю... – ответил Карташев тоном, задевшим целомудренную Наташу.  
– Ну, так поезжай один. – И Наташа повернула свою лошадь.

Карташев засмеялся.

– Ну, не буду.

Наташа остановила лошадь.

– Честное слово?

– Ну, какое тебе дело?

– Уеду.

– Ну, честное слово, – рассмеялся Карташев.

Наташа опять повернула свою лошадь в Криницы, и брат и сестра поехали рядом.

Залитая солнцем, уютно сверкала опрятная деревня. Точно туман или пыль от лучей подымалась над рекой и окутывала ее золотистой дымкой заката. Солнце спокойно исчезало за горой. Высокая перекладина колодца у въезда в деревню на широкой лужайке, равномерно поскрипывая, медленно поднималась и опускалась под усилием какой-то бабы.

– Вот Одарка! – показала вдруг на нее брату Наташа.

Карташев не сразу поверил. Эта неуклюжая, повязанная, загорелая дурнушка – Одарка? Но это была она.

– Одарка?! – воскликнул пораженный Карташев.

Одарка подняла сконфуженно свои все еще прекрасные глаза. Но вдруг, увидя по дороге пару волов и воз, она испуганно заговорила:

– Едьте, едьте, ради бога... Конон!

– Едем, Тёма, – строго приказала Наташа.

Они повернули своих лошадей и оба смущенные молча поехали назад мимо Конона, мужа Одарки. Карташев возмущенно отвел от него глаза.

– В один год всего что он с ней сделал...

Они долго ехали молча.

– Если б я знал, лучше бы не ездил. Одарка оставалась бы все такой же прекрасной... И дурак Конон воображает, что еще можно ухаживать за ней.

Наташа не сразу ответила.

– А душевная перемена еще тяжелее переживается, – рассеянно проговорила она.

С своей обычной болезненной гримасой она посмотрела вперед и опять замолчала.

– Ты на мою перемену намекаешь? – спросил уже серьезно задетый вдруг Карташев.

– Это нечаянно само собой вышло... да. Не только на твою... у вас всех перемена...

Брат напряженно сдвинул брови и искал ответа.

– Нет... если серьезно говорить, то ведь это только поверхностно... Ну, подразнить, что ли, иногда захочется...

– Нет, Тёма... громадная перемена.

Карташев пожал плечами.

– Может... – И, вздохнув, он прибавил: – А нехорошая штука жизнь – портит людей.

Наташе еще тяжелее стало от слов брата. Она выпрямилась, точно хотела сбросить с себя эту тяжесть, и энергично проговорила:

– Нет, это пройдет... Ты опять будешь такой же идеальный... Но!

Она подняла свою лошадь в галоп, Карташев тоже поскакал с ней рядом и все думал о том, – действительно ли он переменился и в чем было то идеальное, чего теперь нет в нем, конечно.

Наступал вечер, в степи где-то замирала песня. Воздух звенел от кузнечиков, стрекотавших без умолку где-то близко по обеим сторонам пыльной дороги. По временам вдруг выше поднималась песня и звонко неслась по степи. Звонкий голос парубка пел:

*Нехай кажуть, нехай кажуть,  
Мусят перестать,  
Як уйду я на Украйну  
Иниую шукать.*

Да, да, думал Карташев, и он уедет в Петербург, и прощай все прошлое... то далекое, милое...

Затихла песня, степь замерла в неподвижном очаровании вечера, сердце больно и сладко сжималось о миллом далеком прошлом и так рвалось к нему...

Они молча доехали до усадьбы. Карташев как-то особенно любил в эти минуты свою сестру.

Он помог ей соскочить у подъезда с седла, и когда она встала на землю, он обнял ее и горячо поцеловал. Наташа тоже быстро, горячо поцеловала брата и с манерой матери, махнув рукой, быстро смущенно прошла в дом.

Карташев же, передав лошадей Грицько, пошел в сад и, гуляя по аллее взад и вперед, все думал о том, что он теперь большой уже. Через месяц он уедет в Петербург и будет жить новой, совсем новой, особенной жизнью. Там он будет другим человеком. Он станет серьезным, будет заниматься, будет ученым, – новый мир откроется перед ним, захватит его своим интересом, и забудется он в нем и потеряет все то, что пошлит людей, что берет верх над духовным только в пустой, бессодержательной жизни.

Карташев ходил, жадно и энергично вдыхал в себя ночной аромат старого сада, и когда его окрикнул с террасы Корнев, он весело и возбужденно ответил:

– Иду!

Из мягкой темноты он попал в яркую столовую, где сидели за чаем все и смотрели на него – Наташа, ласковая и повеселевшая, добродушный Корнев, мать, Маня. И все казались ему и оживленными и жизнерадостными, и он с наслаждением принял свой стакан чая, пил

его и все думал о Петербурге, а когда кончил чай, подошел к матери и горячо поцеловал ей руку. Он был скуп на ласки и, как отец его, несообщителен на чувства, и этот поцелуй и удовлетворение его души передались матери и всем. Вечер прошел незаметно, все были в духе, в том настроении, когда все кажется таким уютным, когда так хорошо поются, в знакомой налаженной обстановке, грустные малороссийские песни. И Корнев с Маней их пели, а Карташев с матерью сидели на террасе. Аглаида Васильевна говорила сыну:

– Ты у меня умный, и добрый, и хороший, Тёма, и я не сомневаюсь, что господь благословит твою жизнь... Но, милый Тёма, поверь ты мне... Я много видела в жизни, и кому же, как не тебе, передать мне свой опыт? Помни, Тёма, что единственная опасность, которая грозит тебе, – это если увлечешься в Петербурге и попадешь в те кружки, откуда выход на эшафот, в каторгу...

– Мама!

– Все, Тёма, погибнет тогда... все! и ты и твоя семья, для которой ты радость жизни превратишь в тяжелое горе... такое горе, которого не выдержу я, Тёма.

Аглаида Васильевна, взяв руками голову сына, поцеловала его горячо в лоб. Разговор продолжался, но уже о молодых – Зинаиде Николаевне и Неручеве. У них не все шло так гладко, как хотелось Аглаиде Васильевне, и она жаловалась на Неручева.

В последний раз на другой день утром обходили Корнев, Наташа и Карташев сад, заглядывали в конюшню, прощались с лошадьми. Корнев смотрел на все равнодушно, как на что-то уже чужое для него, оторванное, к чему он не возвратится больше никогда. Там ждала другая жизнь, там в ней большая или маленькая, но его доля, и интересно было увидеть скорей эту свою долю.

Наташа была равнодушна, сдержанна и как будто рассеянна. Корнев иногда пытливо останавливал на ней взгляд, иногда по лицу его пробегало сомнение, но чаще он говорил себе: «Ерунда», – и старался держаться непринужденно, как человек, который и в мыслях не держит посягать на что-либо. Наташа же только видела его желание подчеркнуть это и всем своим образом действий как бы отвечала: но ведь и я не ищу ничего. И когда им удавалось убедить в этом друг друга, они оба еще более становились спокойными, равнодушными и скучными.

– Спойте на прощанье, – обратилась Наташа к Корневу, когда они возвратились в дом.

– Нет, не хочется... Надоело... Надоело все.

– Ну, вот уж скоро, скоро в Петербург, – ответила Наташа с своей обычной гримасой.

– Что ж Петербург? Я и от него ничего не жду. Высылать мне будут тридцать рублей в месяц, при таких деньгах не разживешься. Комнатка где-нибудь на пятом этаже да лекции... в театр и то не на что будет ходить.

– Уроки будете давать.

– Какие уроки? Нашего брата там, как сельдей в бочке.

– Но другие же дают.

– Дают, кому бабушка ворожит.

– Дают, кто брать умеет.

– Ну, кто брать умеет, – желчно и едко согласился Корнев, – а нам куда? Мы люди маленькие... уже подрезанные, готовые.

– Не говорите же так...

– Отчего не говорить? Истина тяжела, но еще тяжелее отсутствие сознания этой истины, Наталья Николаевна... Нет, уж лучше знать...

– Да ведь откуда вы знаете?

– Э-э! Знаю... Чувствую-с...

## II

Карташевы приехали в город, и текущие интересы дня поглотили все их внимание. Карташева обшивали с ног до головы, как на свадьбу. Шили ему белье, платье, пальто, шубу. В пиджаке он будет ходить на лекции, в сюртуке в театр, к знакомым. Необходимо перчатки и *rinse-nez*. Перчатки он купил, но *rinse-nez* не решился и мечтал только о нем. Там, в Петербурге, он его купит. Он остригся, потому что при примерке нового платья все было новое, кроме старых волн его густых, не желавших держаться аккуратно, русых волос. Так как он требовал от портных, чтоб те шили как можно уже в талии, то платья его смахивали в конце концов на платье с младшего брата. Сам Карташев, впрочем, этого не замечал – его стягивало, как в корсете, он этого только и желал. Ему показались рукава длинными: недостаточно виднелись из-под них манжеты – ему обрезали и рукава.

Наконец все было готово: и платье, и белье, и шуба, и башлык, и даже кожаные калоши. Непременно кожаные. Человек хорошего тона не наденет резиновых. Груда вещей занимала кабинет, лежала на стульях, столах, и Карташев в избытке чувства сам ложился тут же на диван, поверх какого-нибудь нового сюртука, положив ноги на новые штаны, и в каких-то волнах без образов плавал в своем удовлетворенном через край чувстве.

В новом платье он ходил к знакомым и жалел, что нельзя сразу все надеть: все платья, и шубу, и башлык, и калоши. О последних и речи не могло быть в конце июля – и в одном черном сюртуке была невыносимая духота. Но тем не менее как-то вечером, перед самым отъездом, провожая одну из Наташиных подруг, Горенко, Карташев под предлогом прохладной ночи (ночь была удушливее дня) надел и пальто и калоши. Хотел даже надеть и башлык и барашковую шапку, потому что в зеркале он так нравился себе в этой шапке.

– Вам не жарко? – спросила его участливо Горенко.

– Нет, – ответил серьезно и озабоченно Карташев, – у меня маленькая лихорадка, – и, чтобы быть вполне естественным, он даже засунул свои руки в перчатках в рукава своего пальто.

Горенко жила далеко, ночь была лунная, улицы пустынные, шелканье калош оглашало далеко кругом неподвижный воздух и доставляло их владельцу порядочное-таки неудобство.

Когда они подошли к дому, где жила Горенко, Карташев позвонил, и они ждали, пока им отворят.

– Нет, вы сегодня неразговорчивы, – усмехнулась Горенко.

– Я вам говорю, что у меня лихорадка.

По двору раздались шаги дворника.

– Ну, желаю вам всего лучшего. Я все-таки хочу верить, что не ошиблась в вас... У кого есть такая сестра, как Наташа...

Горенко говорила с своей обычной манерой думать вслух.

– Прощайте...

Она быстро пожала руку Карташева и скрылась прежде, чем закутанный Карташев сообразил что-нибудь.

Возвращение домой на этот раз было невеселое. Он всегда был уверен, что в глазах Горенко стоит на высоте. Ее последние слова одним взмахом сшибли его с подмостков... Теплое пальто давило плечи, калоши, утихшие было, стали снова отбивать такой назойливый такт, что Карташев с воплем: «А, будьте вы прокляты!» – вдруг махнул сперва одной ногой, затем другой, и калоши улетели и где-то далеко посреди улицы шлепнулись одна за другой. Но калоши все-таки представляли из себя капитал, и Карташев, удовлетворив свой гнев, отправился на розыски, нашел их и, держа их в руках, пошел дальше.

### III

Завтра отъезд... Завтра все это исчезнет, и совсем другая обстановка уже будет окружать его, Карташева. Эта теперешняя никогда уже не возвратится. Приезд на каникулы будет только временным пребыванием в гостях, но своя жизнь будет уже не здесь – пойдет отдельно и так до конца. Все счета таким образом сведены с этой жизнью – с гимназией, матерью, семьей. Все, что пошлою жизнью, что делало ее будничной, теперь уж позади. Теперь это только близкие люди, которые ничего не жалели и не жалеют, чтоб дать все, что могут. Карташев в первый раз заметил, что мать его постарела и как будто стала меньше... Она нервно, озабоченно возилась около его вещей, старалась не смотреть на него и боролась с собою. Он видел это, видел, как все-таки тяжело ей был его отъезд, и несколько раз его тянуло обнять мать, расцеловать, обласкать. Прежде его ласкали, а теперь ждали его ласки. И он знал, что для матери его ласка была бы большим утешением, была бы счастьем. И тем не менее он не мог себя заставить быть нежным и ласковым, не мог вырваться из какого-то прозаического настроения. Что-то мешало. Конечно, не то доброе чувство, которое теперь в нем было, а скорее – страх, что иллюзия этого чувства разлетится, когда он исполнит свое желание. Может быть, этого чувства хватило бы только, чтобы сделать первый шаг, а затем он остался бы лицом к лицу с той матерью, перед которой стоял, когда удалили из дома Таню, когда его высылали вон, когда насиловали его волю, когда к такой пошлой прозе сводились его порывы... Боже сохрани, он не хотел ничего помнить, не хотел ни в чем упрекать, он любил всей душой, но след, след оставался, и как тяжело экипажу свернуть с наезженной глубокой колеи, так было трудно вырвать что-то из сердца, что не зависело больше от Карташева. И мать это как-то инстинктивно чувствовала и, ничего не требуя, испытывала в то же время неприятное раздражение.

Доставалось Наташе, горничной, но с сыном она была только озабочена и при нем больше обращала внимания на его вещи, чем на него.

Пришел Корнев прощаться, тоже в новом костюме, задумчивый и сосредоточенный. Он сидел, грыз ногти, отвечал односложно.

– Ну-с... – проговорил он и с неестественной улыбкой поднялся.

И в ту же минуту и он и все поняли, что пришло время расстаться, а с разлукой пришла и новая жизнь. Это стоял уже не мальчик, не гимназист Корнев, – это стоял молодой человек в черном сюртуке. Его лицо побледнело и по обыкновению, как то бывало с ним в минуты сильного волнения, слегка перекошилось.

– Ничего не поделаешь... надо прощаться...

Голос его хотел быть шутливым, но дрожал от волнения. Наташа стояла перед ним бледная, большие глаза ее почернели еще, и она точно испуганно смотрела в него, как бы стараясь вдруг вспомнить то, что все время до этого мгновенья вертелось у ней в голове.

– Вот как время летит, Наталья Николаевна, а впереди что?

Он на одно мгновенье пылливо, напряженно заглянул ей в глаза.

Наташа все продолжала во все глаза смотреть на Корнева и вряд ли сознавала что-нибудь, когда пожала ему руку.

Корнев вышел в переднюю, надел пальто, вышел на подъезд, перешел улицу, а Наташа бессознательно подошла к окошку и смотрела ему вслед. Корнев вдруг повернулся, точно какая-то сила толкнула его, и, увидев Наташу, сорвал свою шляпу и несколько раз низко и быстро поклонился. Это был прежний гимназист Корнев в засаленном пиджаке там в деревне, и глаза Наташи вдруг засияли волшебными огоньками.

## IV

И день отъезда настал. Уезжали: Корнев, Карташев, Ларио, Дарсье и Шацкий.

Шацкий, несмотря на то, что познакомился очень недавно со всей компанией, уже сумел вызвать к себе общее нерасположение. Он, собственно, не был учеником гимназии и держал со всеми только выпускной экзамен. Он был то, что называется экстерн, или футурус. Выдержал Шацкий экзамен хорошо, но крайней эксцентричностью своих манер поражал и часто возмущал всех. Более других возмущался Корнев, не могший выносить этой высокой, развинченной фигуры, всегда в невозможном по безвкусию костюме, с претензией на какой-то шик, которого не только у него не было, но, напротив, все было карикатурно и уродливо до непозволительности. Ко всему Шацкий как-то без смысла и цели лгал: сегодня он граф, завтра князь, а в то же время все знали, что его родня занимается в городе торговлей.

Поезд отходил в семь часов вечера. Первым приехал на вокзал Шацкий, одетый в поло-сатый костюм в обтяжку, долженствовавший изображать англичанина.

Худой, высокий, с маленькой рысьей физиономией, с вечно бегающими глазками и карикатурно длинными руками и ногами, Шацкий, безобразно ломаясь, быстро ходил взад и вперед, что-то без голоса, фальшиво напевая себе под нос. Иногда он вдруг останавливался, широко расставляя свои длинные ноги, вытягивал свою рысью голову, усиленно мигал, точно соображал что-то, и затем, весело щелкнув пальцами перед своим носом, еще карикатурнее раскачиваясь и чуть не выкрикивая какой-то дикий, бессмысленный мотив, продолжал свою беготню по платформе.

В дверях показались Корнев и Ларио.

– Здесь уже? – брезгливо проговорил Корнев, увидев Шацкого. – Готов пари держать, что его все принимают за идиота.

Ларио, широкоплечий, коренастый, с круглым румяным лицом, с большими близорукими карими глазами, бойкий только в своей компании и очень конфузливый в обществе, в ответ на слова Корнева прищурился, оглянул платформу и поспешно произнес:

– Послушай, сядем вот в том уголке.

Усевшись на зеленую скамейку подальше от публики, Ларио на мгновение почувствовал себя удовлетворенным, но вскоре опять заерзал.

– Рано приехали... – сказал он, прищурившись.

Помолчав еще, он с напускной бойкостью спросил Корнева:

– А что, Вася, как насчет пивка?

– Пивка так пивка, – ответил Корнев.

– Молодец, – вдруг оживился Ларио, – люблю таких. Гарсон, пару пива! Терпеть я, Вася, не могу всякого этакое собрания.

– А я вот терпеть не могу таких, как этот Шацкий.

Шацкий, не обращая внимания на товарищей, продолжал бегать взад и вперед.

– Ну, что ты против него имеешь? В сущности, ей-богу, он ничего себе.

– Ты думаешь? – спросил Корнев, принявшись за свои ногти. – Послушайте, вы, – примирительно окликнул он Шацкого, – подите сюда.

Шацкий, засунув руки в карманы своей английской куртки, подошел к сидевшим и, широко расставив длинные ноги, уставился в Корнева, стараясь замаскировать некоторое смущение пренебрежительным выражением лица.

– Ну, одним словом, настоящий англичанин, – сказал пренебрежительно Корнев. – Вы сегодня кто: граф, князь, барон?

Шацкий рассмеялся, но, сейчас же скорчив серьезную физиономию, церемонно ответил:

– Маркиз, вы слишком любезны...

– А вы, князь, шут гороховый... то бишь, я хотел вам предложить один вопрос: приедет ли ваша пышная родня вас провожать сегодня?

– Нет, лорд, я уезжаю инкогнито.

– Это значит, что вы все-таки не добились разрешения на ваш отъезд. Откуда же вы в таком случае достали денег? Мне страшно подумать, князь: неужели вы решились на преступление и, говоря грубым жаргоном обитателей тюрьмы, попросту украли у вашего батюшки деньги?

– Лорд, что за выражения, – рассмеялся Шацкий, – за кого вы меня принимаете?

– В таком случае я ничего не понимаю...

– Да вы еще меньше, мой друг, поймете, если я вам скажу, что у меня в кармане тысяча рублей и я чист, как слеза.

Шацкий щелкнул пальцами и перекрутился на одной ноге.

– Во-первых, я вам не друг, а во-вторых, князь, позвольте по поводу последнего пункта остаться при особом мнении...

– В таком случае я не могу больше продолжать с вами беседу и потому...

Шацкий снял свою английскую фуражку.

– Можете убираться ко всем чертям, барон.

– Вы начинаете сердиться – это к вам не идет, – ответил Шацкий уже издали.

– Как все-таки досадно, что мы связались с ним, – проговорил Корнев, – он нам всю дорогу испортит.

– Ну черт с ним, – ответил Ларио, – давай раздавим еще по кружечке.

И Ларио с чувством прижал ногу к столу.

– Да ведь так мы с тобой налижемся, пожалуй.

– От пары пива? Хо-хо-хо! Как ты глуп еще, Вася! Человек, пару!

Еще выпили пару.

Ларио, по мере того как пил, делался все оживленнее, а Корнев как-то все больше и больше слабел.

– Нет, я больше не буду, – уперся Корнев после третьей кружки. – У меня голова слабая, я не могу. Ты пей, а я посижу.

– Вася, не выдавай!

– Оставь!

– Вася, будь друг! Ты ведь еще мальчишка, а я в Питере уже был и, как свои пять пальцев, знаю... приедем – все покажу. Вася, голубчик, выпей, уважь, будь друг.

Корнев блаженно улыбался и наконец как-то отчаянно махнул рукой.

– Вася, друг! понимаешь, друг! Мальчик, два пива!

– Я боюсь только, – ответил Корнев, – что ты, Петя, скандал в конце концов сделаешь.

– Я, скандал? Я?!

И Ларио с чувством и упреком уставился в Корнева.

– Вася?! Ты мой лучший друг. За кого ж ты меня принимаешь? Видишь эту вот кружку, – больше ни-ни! Понимаешь, Вася? Эх, Вася, ведь ты думаешь, я пью для удовольствия – нет! Для куражу пью. Робкий я, Вася! Как народ – так, кажется, сейчас бы сквозь землю провалился, – не знаю, куда руки, куда ноги девать, а как выпьешь, и ничего, – ходишь себе, точно никого нет. Вот и сегодня – народу много приедет, ну, я и подбадриваюсь.

– Не перебодрись только.

– Небось я знаю себя. Я, Вася, все знаю, все вижу, только скромность моя, Вася... Вот, Вася, хоть тебя взять. Думаешь, не вижу? А Наташа Карташева?

– Что Наташа? – спросил, стараясь придать себе равнодушный вид, Корнев. – Тебе понравилась?

– Вася, не финти, мне наплевать на Наташу, а вот твое рыльце в пушку. Подлец, Вася: краснеешь, врешь, меня не надуешь.

И Ларио залился громким, каким-то неестественным смехом.

– Вот ты говорил, что не захмелеешь...

– Врешь, врешь, я не захмелел. Только ты брось всех этих порядочных, Вася, – все они ломаки. Нет в них наивной простоты, и страсть, страсть их пугает. Пугает! Понимаешь?

– Послушай, на нас смотрят.

– Начхать! Слушай, Вася! Я тебя познакомлю в Питере со швейками. Я, Вася, больших не люблю. Я люблю маленьких. Эх, Вася, ненасытный я!.. Я тигра лютаю, Вася... я крови хочу!!

И Ларио вдруг зарычал на всю платформу.

– Послушай?!

Входившие мать Корнева, сестра его, Семенов и Долба искали глазами Корнева.

Семенов и Долба приехали проводить.

Долба и Вервицкий оставались в одном из южных университетов.

– Вот он!

Когда все подошли, Маня Корнева сказала брату:

– Вася, как тебе не стыдно! Маменька, посмотрите.

Она показала на кружки пива.

– Васенька, миленький мой, – произнесла как-то автоматически мать Корнева. – Как же тебе не стыдно?

Корнев смущенно махнул рукой.

– Ну, что вы, маменька, в чем тут стыд, какой тут стыд? Ну, выпили кружку пива, ну, что ж тут такого?

– Как же так, Вася, ты молодой человек, у тебя сестра на возрасте.

– Ну и слава богу, – перебил ее Корнев, – вот я сейчас заплачу, и пойдем.

– Нет, я плачу, – перебил его Ларио.

– Ну, черт с тобой, плати ты.

– Ах, Васенька, опять ты эти слова!

– Полноте, маменька, все это пустяки. Слова как слова. Это вот дворянам надо слова разбирать, потому что они дворяне, а мы с вами, маменька, люди маленькие.

– Маленькие, сыночек, маленькие... Васенька! Только зачем же ты все-таки это пиво пьешь – нет в нем добра, Вася. Ох, ножки мои, ножки, совсем не могу стоять – посади меня, Васенька!

И старушка Корнева тяжело опустилась на скамью.

Приехали наконец и Карташевы: Аглаида Васильевна, Наташа, Тёма и брат Аглаиды Васильевны, высокий господин с большим добрым рябым лицом. Аглаида Васильевна выписала брата из его маленького имения с тем, чтобы он поселился у нее и вел ее дела. Он приехал как раз в тот день, когда уезжал Карташев. Он говорил сестре «вы» и был в полной от нее зависимости.

– Я не перевариваю, – сказал Корнев, – Карташева возле матери: она вьет из него веревки.

– А Наташу перевариваешь? – спросила сестра.

– Ну, Наташа, – кивнул головой Корнев. – Он в подметки не годится своей сестре. Она цельная натура. Впрочем, и он отличный парень, и я люблю его от души.

Корнев благодушно махнул рукой.

– Но только чувствую...

– А вы не чувствуете, Васенька, что от вас, как из пивного бочонка, несет пивом?.. – спросила сестра.

– Это не вашего ума дело, – ответил ей брат. – Вы вот слушайте, что вам говорят, и ладно будет.

- Ах, Вася, не обижай сестру на прощанье.
- Маменька, ее никто не обижает, она сама всякого обидит...
- Послушайте, Семенов, уведите его и приведите в чувство, а то он что-нибудь выкинет перед Карташевыми, – обратилась Маня к Семенову.
- Ерунда, – ответил уверенно Корнев.
- Ничего не выкинет, – авторитетно сказал и Семенов, – вот разве два три зернышка жженого кофе, чтоб дух отшибить.
- Ладно и так, – пренебрежительно ответил Корнев.
- Подошло семейство Карташевых, и все начали между собой здороваться.
- А где же Ларио? – спросила Наташа.
- Маня Корнева насмешливо посмотрела на брата.
- Ну, что же ты молчишь? Где Ларио?
- Ларио? Он скрылся. Знай, несчастная, что он ненавидит таких, как ты.
- И Корнев запел выразительным и верным голосом:

*Нас венчали не в церкви...*

- Ничего не понимаю.
- И не надо тебе понимать.
- Противный!

- Семенов забил тревогу о том, что надо вспрыснуть отъезд.
- Незаметно компания оставила платформу и скрылась под навесом буфета. Когда налили всем по рюмке водки, Долба, тряхнув волосами, произнес:
- Ну, за отъезжающих... Дай же боже, щоб наше теля да вивков сьило.
- Выпили.
- Наливайте еще за остающихся, – предложил Семенов.
- Карташев, не любивший водки, отказался:
- Нет, я больше не буду.
  - Что? мама? – спросил его вызывающе Ларио.
  - Дурак, – ответил Карташев и залпом выпил другую рюмку.
- Водка обожгла ему горло, и он несколько мгновений стоял, будучи не в силах произнести что-нибудь.
- Скажи: мама! – посоветовал ему Ларио, вызвав общий хохот.
- Карташев в ответ хлопнул его по спине и проговорил наконец:
- Черт меня побери – я передумал поступать на математический, потому что все равно срежусь.
  - Инженер путей сообщения, значит, тю-тю?! Куда ж? Неужели на юридический? – весело поразился Корнев.
  - Угадал!
  - О-о! Легкомыслие!
  - Водки! – решил по этому поводу Ларио.
  - В таком случае, – вмешался вдруг Шацкий, – я тоже на юридический поступаю, а не в институт путей сообщения.
  - Вот это хорошо, – быстро ответил Корнев, – вас там только недоставало! Первая умная вещь, которую от вас слышу. Согласен даже еще выпить по поводу такого счастливого случая.
- После четвертой рюмки Корнев, порядочно охмелевший, сказал:
- Ну, пьяницы, довольно, пошли все вон назад.

Когда они вернулись на платформу, Корнева встретила глазами с Карташевым... Он, под влиянием выпитой водки, особенно нежно взглянул на нее.

– Карташев, подите сюда, – подозвала его Корнева.

Они пошли по платформе.

Аглаида Васильевна, собравшаяся было что-то сказать сыну, только махнула рукой и, обратившись к брату, заметила:

– И не слушает даже! Посади меня где-нибудь.

Брат подвел сестру к скамейке, стоявшей в стороне, и проговорил, усаживаясь рядом:

– Да уж, сестра, такой возраст, что на всякую юбку променяет нас.

– Ни на кого он меня не променяет, – сказала, помолчав, Аглаида Васильевна, – он любящий, добрый мальчик.

– Так-то так, да года-то его не любящие.

– Глупости говоришь ты, – ответила Карташева, – если уж хочешь знать, могу тебе сообщить характер их отношений: он поверенный в ее любви к Рыльскому.

Аглаида Васильевна бросила насмешливый взгляд на брата.

– Сам признался мне. Совершенный еще ребенок, – усмехнулась Карташева. – Рассказывает мне, как он стал ее поверенным...

– Разиня какой...

Аглаида Васильевна, видимо, не рассчитывала на такой эффект и вызывающим голосом спросила:

– Почему разиня?

– Помилуйте, сестра, в его годы...

– Ну, вот опять его годы!.. только что ты говорил, что в его годы он меня с тобой променяет на всякую юбку, а теперь... Дело не в годах здесь, а в воспитании.

И Аглаида Васильевна с некоторой пренебрежительностью отвернулась от брата и стала искать глазами сына.

– Послушайте, Карташев, – говорила между тем Корнева, – я замечаю, что с тех пор, как... Ну, одним словом, с тех пор... вы помните... вы совсем переменяете со мной обращение. Я хочу знать, почему это? Если в ваших глазах я пала...

– Бог с вами, что вы говорите, – горячо заговорил Карташев. – Я был бы негодяем, если бы, узнав так доверчиво открытую мне тайну, вдруг позволил бы себе... Да, наконец, что тут дурного? Поверьте, что всякий на его месте только...

Карташев замолчал.

– Что только?

Сердце Карташева замерло от вдруг охватившего его чувства.

– Послушайте, – сказал он решительно, – мы сейчас уезжаем. Неужели вы никогда не догадывались, что я был в вас, как сумасшедший, влюблен?

– Вы?! А теперь?

Карташев поднял на нее свои глаза.

– Н... да... послушайте... – растерялась Корнева, – что я вам хотела сказать?

Горячая волна крови прилила к ее лицу.

Они оба молчали и стояли друг против друга. Карташев испытывал какое-то совершенно особенное опьянение.

– Как хотите, сестра, но с таким лицом не поверяют и не принимают поверяемых тайн, – лукаво произнес брат Аглаиды Васильевны.

Мать сама давно заметила что-то особенное и теперь громко и строго позвала сына:

– Тёма, мне надо с тобой поговорить.

Карташев в последний раз посмотрел на Корневу. Все вихрем закружилось перед ним, и, не помня себя, он прошептал:

– Да, я люблю вас и теперь!

Взволнованный подошел он к матери.

Карташева встала и недовольно сказала сыну:

– Ты мог бы и раньше переговорить с посторонними (на этом слове она сделала особое ударение), а последние минуты можно, кажется, и с матерью побыть... Пойдем со мной.

Сын пошел рядом с нею. Они ходили по платформе, ему что-то говорила мать, но он ничего не слышал, ничего не видел, или, лучше сказать – видел, слышал и чувствовал только одну Корневу, ее голубенькое в мелких клетках платье, ее жгучие глаза. По временам от избытка чувства он поднимал голову, смотрел в ясное небо, вдыхал в себя нежный аромат начинающегося вечера, влюбленными глазами следил за проходившей по временам Корневой, и все это было так ярко, так сильно, так свежо, так не похоже на то настроение, которого желала и требовала мать от уезжавшего в первый раз от нее сына.

– Ты на прощанье стал совершенно невозможным человеком. Ты ничего не слушаешь, что я тебе говорю. Скажи, пожалуйста, что она с тобой сделала?!

– Ничего не сделала, – угрюмо ответил Карташев.

– Ты пьян?!

– Ну, вот и пьян, – растерянно сказал Карташев.

Аглаида Васильевна, как ужаленная, отошла от сына. Она была потрясена. Она всю себя отдала детям, она делила с ними их радости и горе, она только и жила ими, волнуясь, страдая, переживая с ними все до последней мелочи. Сколько горя, сколько муки перенесла она, работая над сыном. И что ж? Когда она считала, что работа ее почти окончена, что вложенное прочно и надежно, что же видит она? Что первая подвернувшаяся пустая девчонка и кутилы товарищи сразу делают с ее сыном так же, как и она, все, что хотят. Уверенная в себе, она точно потеряла вдруг почву. Слезы подступили к ее глазам.

«Я, кажется, делаю крупную ошибку, – я рано, слишком рано отпускаю его на волю», – подумала она.

А Карташев, отойдя от матери, со страхом думал о том, чтобы скорее был звонок – поскорее уехать. Он боялся, что мать вдруг возьмет и оставит его. Он вдруг как-то сразу почувствовал весь гнет опеки матери, и ему казалось, что больше переносить этой опеки он не мог бы. Даже Корнева, если б он остался, не утешила бы его. Напротив, ради нее он хотел бы еще скорее уехать. Это признание, которое так неожиданно вырвалось, которое так сладко обожгло его, начинало уже вызывать в нем и к ней и к себе какое-то неприятное чувство сознания, что они оба точно украли что-то такое, что уж ни ей, ни ему не принадлежит. Карташев вслед за другими угрюмо подошел к кассе и лихорадочно ждал своей очереди. Но вот и билет в руках. Сдан и багаж. Уж везут его сундук на тележке.

Сомнения больше нет: он едет!

Через несколько минут все это уж будет назади. Перед ним жизнь, свет, бесконечный простор!

Он тревожно искал глазами мать.

Взгляд его упал на ее одинокую затертую фигурку. Она стояла, облокотившись о решетку, ничего перед собою не видя; слезы одна за другой капали по ее щекам. А у нее что впереди?!

Карташев стремительно бросился к ней.

– Мама! Милая мама... дорогая моя мама...

Слезы душат его, он целует ее голову, лицо, руки, а мать отворачивается и наконец вся любящая – рыдает на груди своего сына. Все стараются не замечать этой бурной сцены между сыном и матерью, всегда такой сдержанной. Аглаида Васильевна уже вытирает слезы; Карташев старается незаметно вытереть свои. Слабый, как стон, уже несется удар первого звонка, и уже раздается голос кондуктора:

– Кто едет, пожалуйста в вагоны.

Толпа валит в вагоны.

– Сюда, сюда! – кричит Долба.

Нагруженная, за ним бежит подвыпившая компания, бурно врывается в вагон, и из открытых окон вагона уже несется звонкое и веселое «ура!».

Жандарм спешит к вагону и, столкнувшись в дверях с Шацким, набрасывается на него:

– Господин, кричать нельзя!

– Мой друг, – отвечает ему снисходительно Шацкий, – ты не ошибешься, если будешь говорить мне: ваша светлость!

Фигура и слова Шацкого производят на жандарма такое ошеломляющее впечатление, что тот молча, заглянув в вагон, уходит. Встревоженные лица родных успокаиваются, и чрез несколько мгновений отъезжающие опять возле своих родных и над ними острят.

– Вот отлично бы было, – говорит Наташа, – если бы жандарм арестовал вас всех вдруг.

– Что ж, остались бы, – говорит Корнев, – что до меня, я бы был рад.

Он вызывающе смотрит на Наташу, и оба краснеют.

– Смотрите, смотрите, – кричит Маня Корнева, – Вася краснеет! первый раз в жизни вижу... ха-ха!

Все смеются.

– Деточки мои милые, какие ж вы все молоденькие, да худые, да как же мне вас всех жалко! – И старушка Корнева, рыдая, трясет головой, уткнувшись в платок.

– Маменька, оставьте, – тихо успокаивает дочь, – смотрят все.

– Ну и пусть смотрят, – горячо не выдерживает Корнев, – не ругается ж она!

– Голубчик ты мой ласковый, – бросается ему на шею мать.

– Ну, мама, ну... бог с вами: какой я ласковый, – грубиянил я вам немало.

Второй звонок замирает тоскливо.

Начинается быстрое, лихорадочное прощанье. Аглаида Васильевна крестит, целует сына, смотрит на него, опять крестит, захватывает воздух, крестит себя, опять сына, опять целует и опять смотрит и смотрит в самую глубину его глаз.

– Мама, мама... милая... дорогая, – как маленькую, ласкает и целует ее сын и тоже заглядывает ей в глаза, а она серьезна, в лице тревога и в то же время крепкая сила в глазах, но точно не видит она уж в это мгновение никого пред собой и так хочет увидеть. Она судорожно, нерешительно и бесконечно нежно еще и еще раз гладит рукой по щеке сына и растерянно все смотрит ему в глаза.

У Карташева мелькает в лице какой-то испуг. Аглаида Васильевна точно приходит в себя и уже своим обычным голосом ласково и твердо говорит сыну:

– Довольно... я довольна: ты любишь... Бог не оставит тебя... Иди, иди, садись...

Вот они все уж в окнах вагона и опять точно забыли, что чрез минуту-другую тронется поезд.

В толпе провожающих быстро мелькает цилиндр Дарсье.

– Дарсье, Дарсье!

Все, возбужденные, высовываются из окон.

– Едешь?!

– Еду, но без разрешения: сорок рублей всего в кармане!

– Уррра... а-а-а!!! – залпом вылетает из всех окон вагона.

Жандарм опять спешит с другого конца.

– А багаж?

– Ничего!

– У-ррр-а-а-а!

– О-ой! – завывает от восторга Корнев.

Дарсье влетает в вагон, и на мгновение все лица исчезают в окнах.

Слышны оттуда полупьяные веселые крики и возгласы:

– Кар! Кар!

– Француз!

– Ворона!

– А это видел? – вытаскивает Ларио бутылку водки и колбасу.

– Урра-а-а!

– Господа!! – кричит жандарм.

Все опять бросаются к окнам.

– Виноват!! Никогда больше не буду!! – кричит ему из окна Корнев и корчит такую идиотскую рожу, что все, и отъезжающие и остающиеся, хохочут.

Третий звонок, и все сразу стихают. И отъезжающие и остающиеся впиваются друг в друга глазами, точно желая сильнее запечатлеть милые, близкие сердцу образы. Тихо трогаются вагоны и один за другим все быстрее катятся и проходят пред глазами провожатых.

– Лови, – бросает Ларио огрызок колбасы в лицо жандарма, мимо которого проносится теперь их вагон, и, как бы помогая жандарму в его недоумении, что ему делать, кричит из окна, разводя руками: – Э, э, э...

А там, на платформе, стоят и всё смотрят вслед исчезающему поезду. Уж только площадка последнего вагона виднеется. И ее уже нет, и весь поезд скрылся за закруглением в садах, окружающих город. Только белое облако пара не успело еще расплыться в неподвижном, горящем всеми переливами огней, тихом закате.

А две матери все еще стоят и сквозь туман слез все еще смотрят в опустелую даль, вслед исчезнувшим, как сладкий сон, милым сердцу детям.

## V

Первое впечатление от большого Петербурга было сильное и приятное. Громадные дома, перспектива Невского, его беззвучная мостовая, этот «ванька», на котором точно скользишь и съезжаешь куда-то по гладкой мостовой, тысячи зеркальных окон, экипажи, толпа... Затерянный Карташев ехал на своем извозчике, и какое-то сильное чувство охватывало его. Сырой запах сосны и смолы, смешанный с бодрящим морозным ароматом осени; небо в влажных разорванных тучах и в них солнце, полосами освещающее и улицы, и громадные дома; свет и тени этого солнца и эта движущаяся толпа... Карташев радостно всматривался и думал: вот где жизнь бьет ключом, кипит! И ему хотелось поскорей броситься в водоворот этой жизни. Радовала и мысль, что он теперь совершенно самостоятельный человек: когда хочет обедает, когда хочет и куда хочет идет, – сам себе полный хозяин.

Однако постепенно, рядом с этим чувством радости, стало закрадываться и другое. Карташева начинало тревожить сознание своей отчужденности от всей этой жизни, сознание своего одиночества. Люди идут, едут, спешат куда-то, – одному ему некуда спешить, нечего делать.

Приемные экзамены кончились, но лекции еще не начинались. В чистенькой комнате в четвертом этаже на Гороховой тоже делать было нечего. Читать не хотелось: в этом водовороте жизни тянуло не к книге. Этот шум улицы врвался в комнату, и, несмотря на четвертый этаж, лежащему на своей кровати Карташеву казалось, что он лежит не у себя в комнате, а прямо на улице: и кругом, и мимо него, и над ним, и по нем едут, громыхают, дребезжат и при этом не обращают на него никакого внимания. И точно, чтоб убедиться в этом, он опять бежал на улицу, а улица гнала его снова домой и опять-таки только для того, чтобы, стремительно взбежав на лестницу, войти, раздеться, оглянуться и сесть или лечь, почувствовав еще сильнее свою пустоту и одиночество.

Компания как-то сразу разбрелась и затерялась в большом городе.

Корнев поселился на Выборгской.

Ларио исчез совершенно с горизонта. Шацкий выдержал экзамен в институт путей сообщения, но о дальнейшей его судьбе Карташев тоже ничего не знал.

– Способный, шельма, – с завистью отдавал ему должное Корнев.

Дарсье поселился в доме своих дальних родственников, поступив в технологический институт главным образом потому, что здесь не требовалось никаких поверочных испытаний.

Как-то не было даже и охоты видаться друг с другом. Каждый понимал, что он отрезанный от других рукав реки, и каждый жадно искал своего выхода.

Одиночество все сильнее охватывало Карташева. Он бегал от него, а оно его преследовало. Побывал он в театрах, в Эрмитаже, в Академии художеств, но везде была все та же чужая ему, раздражавшая своей непонятной жизнью, незнакомая толпа. В жизни этой толпы были, конечно, и большой интерес, и большое содержание – она кипела, но чем сильнее кипела, тем больше мучился Карташев, единственный между всеми обреченный томиться пустотой и жаждой жизни. Иногда, вечером, выгнанный скукой из своей комнатки, он шел по пустынным улицам, и тогда в стихающем шуме точно легче становилось на душе. Он вспоминал мирную, налаженную жизнь своего городка, семью, былой кружок товарищей, гимназию и интересы, связывавшие их всех в одно. Он с тоской заглядывал в освещенные окна тех домов, которые своими размерами напоминали ему далекую родину. Там, за этими окнами маленьких домиков, жили люди, у них были свои интересы. И он их имел когда-то. Вот сидит в кресле какой-то молодой господин, девушка прошла по комнате, – какая-то счастливая семейная обстановка. Счастливые, они живут и не знают, что есть на свете ужасный зверь – скука, – который бегаёт по улицам и жадно караулит свои жертвы. Иногда Карташеву вдруг даже страшно делалось от сознания своего одиночества. В этом большом городе было тяжелее, чем в пустыне. Там хоть

знаешь, что никого нет, а здесь везде, везде люди, и в то же время никого, в ком был бы какой-нибудь интерес к нему. Заболей он, упади и умри – никто даже не оглянется. И Карташеву хотелось вдруг уложить свои вещи и бежать без оглядки от этого чужого, страшного в своем отчуждении города.

Но еще сильнее угнетали Карташева ужасные расходы и мысль, как же жить и как это все впереди будет? В этом большом городе деньги плыли так же быстро и неудержимо, как та вода большой реки, которую переплывал он в ялике, наведываясь в свой университет.

Сто пятьдесят рублей, данные ему на три месяца, таяли, как снег весной: прошла всего неделя, а в кармане осталось только девяносто... Он старался считать каждую копейку, но как ни считал, а к вечеру двух, трех, пяти рублей уже не было. Куда уходили они? Он ломал голову, вспоминал, и постепенно все расходы всплывали в памяти: конка, иногда извозчик, лодка, папиросы, завтрак, обед (никогда у него не было такого чудовищного аппетита!), газета, что-нибудь сладенькое... только на сегодня, конечно; хлеб к чаю утреннему и вечернему, непредвиденный расход по хозяйству, лампа, щетка; белье, чай, сахар и масса мелочей, которых ни в какую смету не введешь, но которые съедают много, очень много денег. Эти мысли о расходах, о необходимости быть экономным и это полное неведение, как же быть экономнее, окончательно отравляли все существование Карташева. Каждый день составлялась новая смета, и в конце концов Карташев в отчаянии говорил себе: «Нет, лучше все деньги истратить не учитывая, чем так мучиться. Ну, когда останется три рубля, накуплю хлеба и буду жить целый месяц. А потом? – поднимался со дна души мятежный вопрос. – Потом, – растерянно думал Карташев, – потом... Я умру, или что-нибудь случится, потому что нельзя же больше месяца вынести такой каторги...»

## VI

Часто, гуляя, Карташев любовался с набережной на выглядывавшее красное здание университета.

Что-то чужое, что он обидно почувствовал в университете в дни приемных экзаменов, уже изгладилось и снова уступило место потребности любить и привязаться всей душой к тому, к чему фантазия и мысль так давно и так жадно стремились. Это его университет, и все в нем хорошо: и длинный двор, и палисадник, и полукруг подъезда, и даже этот узкий, в красный цвет окрашенный фасад.

Скоро начнутся лекции, а с ними и настоящая студенческая жизнь, общение с профессорами, сходки, разговоры о лекциях-и прочитанном, выводы... о! это будет хорошо, как ванна, которая сразу отмоеет его, освежит, разбудит... Тогда и денег некуда расходовать будет...

Наступил наконец и давно ожидаемый день начала лекций. Торопливо, с раннего утра Карташев умывался, одевался, смотрелся в зеркало и наряжался в свое лучшее платье.

Было прекрасное, почти морозное утро. Умытое ярко-синее небо охватило своими нежными объятиями город со всеми его домами, башнями, золотыми куполами. Лучи солнца заставляли весело, ярко сверкать эти купола в свежем утре.

Несся глухой гул.

Вот пустая еще Морская – мягкая мостовая и смолистый сырой аромат, этот возбуждающий, бодрящий аромат в осеннем воздухе.

Вот и Нева. Плавно и беззвучно катит она свои воды, вся скованная гранитом, громадными домами, с целым лесом в туманной дали мачт и судов. Лошадь гулко стучит по Дворцовому мосту, в сердце радостно замирает при взгляде на знакомое красное здание.

Лекции сразу начинаются знаменитым профессором. Серьезные, озабоченные фигурки одна за другой торопливо исчезали в громадных входных дверях. Здесь, в этой толпе, будущие министры и писатели.

Карташев спешно, судорожно рассчитывался с извозчиком, и вихри мыслей пронеслись в его голове. Он точно видит вдруг всю головокружительную высоту человеческой жизни. Кто, кто взберется на вершину ее? Тот ли маленький, тихий, глаза которого, как две звездочки, ясно смотрят на него в это мгновение, или этот в золотом пенсне, подкативший на собственном рысаке? Да, жизнь в этом большом городе не такая простая вещь, какой казалась там, в знакомой обстановке милой родины.

Карташев, раздевшись, быстро влетел по лестнице и, остановившись на площадке второго этажа, заглянул в открытую конференц-залу. Там было тихо, спокойно, и вся зала, со всеми своими стульями и хорами, точно спала еще.

Зато с левой стороны из коридоров и аудиторий уже несся шум тысячной толпы.

Карташев прошел по коридорам, заглянул в аудитории, разыскал свою, громадную, большую, с окнами на север, темную, с полукруглыми рядами амфитеатром расположенных скамеек, попробовал присесть на одной из них и опять вышел в коридор.

Возбужденное и праздничное настроение Карташева опять сменилось знакомым уже чувством пустоты и неудовлетворенности. Лица толпы были неприветливы или равнодушны. Встречавшийся взгляд или безучастно осматривал его фигуру, или смотрел угрюмо и даже враждебно.

В общем, это была все та же отчужденная толпа улицы, вызывавшая гнетущее ощущение. Так же на каком-нибудь гулянье, на Невском, равнодушно смотрели и проходили дальше. Здесь даже было что-то худшее: точно собрались конкуренты на одну и ту же должность, собрались и уже меряли своих противников, скрывая это под личиной равнодушия, пренебрежения, высокомерия и раздражения. Это уже не гимназическая толпа и не гимназические товарищи.

В гробовой тишине прозвучали глухо первые слова профессора:  
«Милостивые государи!»

Точно яркая молния осветила повеселевшего вдруг Карташева. Это он-то милостивый государь? Но кто же другой? Конечно, он, студент петербургского университета. Не гимназист, а студент; не мальчишка, а молодой человек, пришедший вместе с другими сюда узнать то, что поведает ему этот знаменитый старик. И только для этого и больше ни для чего пришел и он, и все другие сюда, и все остальное – такая мелочь... пошлая и глупая... Радостное чувство охватило Карташева, и он вдруг впервые ощутил какую-то тесную связь с этой толпой. Нет, все-таки это уже не толпа улицы, это его толпа. Эта аудитория тоже не улица – это источник света, знания. Он молодой, во цвете сил, и перед ним длинная жизнь, и все, все будет в ней зависеть от того, какой фундамент успеет заложить он в эти, в сущности, короткие дни своего учения. О, надо слушать обоими ушами, слушать и не терять ни одного дорогого слова!

Но прежде всего надо было привыкнуть слушать. Сперва слова сливались в какой-то один неясный гул. Но мало-помалу звук стал яснее, и Карташев уже различал слова и отдельные предложения. На этом, впрочем, пока все и остановилось. Карташев слушал, различал слова, группировал их в предложения, вникал в смысл, а профессор в это время говорил уже что-то новое. Карташев бросал старое, хватался за это новое, напрягался изо всех сил, точно бежал запыхавшись. Казалось сперва, что все шло хорошо, но вдруг опять он спотыкался обо что-то, и в его голове все собранное сразу разлеталось.

Чем дальше шла лекция, тем все напряженнее и глупее чувствовал себя Карташев. Точно он слушал не энциклопедию права, а какую-то высшую математику, ряд непонятных, бог весть откуда взявшихся формул.

А между тем профессор читал только еще вступление к предмету, ко всем этим всевозможным философским системам от Фалеса до Тренделенбурга, собирался только приступить к пространному введению о методах диалектическом, органическом, историко-генетическом. Этот последний был его собственный метод, и Карташев смотрел с широко раскрытыми глазами и думал, в какую бездну надо погрузиться, чтобы не только понимать, а еще и изобрести этот какой-то страшный метод.

Прочитав час, профессор ушел и через несколько минут опять возвратился. Карташев с новым напряжением принялся слушать, опять магически кольнуло его «милостивые государи», и опять он точно погрузился сразу в какой-то бездонный хаос. Утомленный, он еще меньше понимал теперь.

«Но ведь я, – думал с отчаянием Карташев, – даже Бокля читал, читал Добролюбова, Чернышевского, Флеровского, Щапова, Антоновича, Писарева, Шелгунова, Зайцева, а вот этого не понимаю. Я считался одним из способных, математика всегда для меня была легким предметом. Профессор на поверочном экзамене по словесности, как только я заговорил о Шишкове, о школе Кочановского, пришел в восторг. А посмотрел бы он теперь на меня – каким дураком я сию... А другие, – они понимают?»

Карташев внимательно всматривался в лица слушателей. Одни были напряжены, другие без всякого выражения равнодушно смотрели в лицо профессору, третьи что-то чертили и двое-трое старательно записывали. Записывать в надежде сосредоточиться попробовал было и Карташев, но из этого ничего не вышло.

Он уже знал, что ничего не поймет, и думал только о том, чтобы придать своему лицу такое же выражение, как у всех. Он чертил петушка, отрываясь, делал вдруг вдумчивое лицо и, смотря в потолок, кивал головой. И в то же время он то и дело смотрел потихоньку на часы.

Никогда в гимназии так мучительно не ползло время. Боже мой, еще целых двадцать минут осталось. Разве уйти?! будто на минутку только вышел, а там и поминай как звали. Туда, на улицу, где шум, жизнь, где свежий воздух, а здесь... здесь точно воздуха не хватает. Еще десять минут: надо посидеть. Мимоходом, идя в аудиторию, он видел внизу буфет, стаканы с

чаем, большие бутерброды с свежей ветчиной. Пока все сидят здесь, захватить там поудобнее место... Нет, надо дослушать.

Карташев опять внимательно уставился в профессора. И вдруг произошло что-то странное. Профессор, относительно которого Карташев решил, что так никогда и не услышит от него ничего понятного, заговорил вдруг простым и самым обыкновенным языком:

– Милостивые государи, я кончил сегодняшнюю лекцию... Каждый год для одних я начинаю их первую лекцию, для других – кончаю их последнюю... Для вас, милостивые государи, новых граждан вашей «alma mater»<sup>1</sup>, в свою очередь начинается новый период вашей жизни, лучший период, господа. Свет той идеальной правды, которую, если вы захотите, вы будете жить в этих стенах, вспомнится вам в жизни... Там, за этими стенами, вас ждет иная жизнь, ждет тяжелая и неравная борьба за этот свет. Силы для этой борьбы вы почерпнете только здесь, у своей alma mater, милостивые государи, в этом universitas literae literarum...<sup>2</sup> И, озаренные этим светом, не раз за мирными стенами этого здания повторите вы, милостивые государи, вместе со мной слова великого поэта:

*So gieb mir die Leiden wieder,  
Da ich noch selbst im Werden war!*<sup>3</sup>

Голос старого профессора гулко задрожал, и с ним, казалось, задрожал воздух и холодные стены большой аудитории, задрожали молодые сердца молодых его слушателей... Что-то вдруг точно посыпалось, гром дружных аплодисментов огласил аудиторию.

Карташев обезумел: не помня себя, он аплодировал и кричал: «Браво, браво...»

Давно прекратились аплодисменты, и теперь все смотрели на него. Карташев вдруг смущенно оборвался. В его воображении нарисовалась его комическая фигура в узком сюртуке, отчаянно кричавшая не идущее к делу театральное приветствие.

Карташев с замершим полукриком бросился в коридор.

Застегивая на ходу пальто, он уже шагал по панели так, точно кто-нибудь гнался за ним.

---

<sup>1</sup> матери-кормилицы (лат.).

<sup>2</sup> средоточии наук (лат.).

<sup>3</sup> Так возврати те дни мне снова, когда я сам в развитии был! (нем., перевод А.Фета.)

## VII

Приехавши в Петербург, Корнев оставил на вокзале вещи и отправился прямо на Выборгскую искать себе квартиру.

– Ну, вот и отлично, – проговорил он в первой же квартире, в третьем этаже, услышав объявленную цену – восемь рублей. – Вам оставить задаток? – обратился он к маленькой, чистенькой старушке, квартирной хозяйке, в черном платье и черном чепчике.

– Да, конечно, если вам понравилась комната.

Комната понравилась.

Из маленькой, светлой, продолговатой передней, прямо против входных дверей, и была его комната. Окнами она выходила на восток, и так как перед домом был пустырь, то из окна открывался далекий вид на Неву и на город.

Небольшая комната была светла, а желтенькие обои прибавляли, казалось, еще больше света. Незатейливая обстановка: кровать, комод, письменный стол и три стула – не блистала роскошью, но все было достаточно чисто, достаточно уютно и, главное, недорого.

Корнев поехал назад на вокзал за вещами и часа через два уже сидел в своем новом жилище.

Он обстоятельно расспросил хозяйку, где купить ему чаю, сахару, в какой кухмистерской обедать и где абонироваться на чтение книг.

Узнав все, Корнев оделся и отправился исполнять свои дела по хозяйству.

Кухмистерская, где подавались два блюда за двадцать копеек, пришлась ему по вкусу и едой и обществом, состоявшим почти исключительно из студентов-медиков и молодых девушек, которые собирались поступить или уже поступили на разные курсы. Тут же в кухмистерской он познакомился кое с кем из поступающих сверстников и узнал, что приемные экзамены начнутся через две недели.

Вечером, после чая, Корнев, лежа на кровати, то читал какую-то статью, то, отложив книгу, грыз ногти и думал.

В одиннадцать часов он кончил чтение, разделся, потушил свечку и заснул с тем особым удовлетворением, с каким засыпает человек в первый раз на новом и притом желанном месте.

Утром на другой день он занялся приведением в порядок своих вещей: вынул из чемодана белье, платье, книги. Белье и платье спрятал в комод, аккуратно выстлав дно комода простынями, а книги уложил на письменном столе.

Приведя все в порядок, он сел и написал письмо домой, извещавшее родных о благополучном его прибытии в Питер, о том, что он уже поселился на своей квартире, обедает в кухмистерской и что экзамены начнутся через две недели.

Кончив письмо, Корнев посмотрел на часы. Был уже час – время, назначенное им для обеда, и он отправился в кухмистерскую. Там он быстро – это делалось как-то само собой – завязал еще новые знакомства, и так как разговор коснулся интересных тем, то после обеда он еще долго оставался в кухмистерской.

## VIII

Под вечер к Корневу приехал Карташев и привез с собой разных южных лакомств.

– Дома? – раздался в передней знакомый голос Карташева.

– Дома, дома, – ответил весело Корнев и отворил свою дверь.

Карташев ввалился в комнату и, раздевшись наскоро, стал выкладывать на стол: халву, финики, виноград. Корневу вдруг сделалось так весело, как давно уже не было.

– Ооой! – завыл он и повалился на кровать.

– Ура! – подхватил Карташев и, бросив лакомства, улегся рядом с Корневым.

Приятеля давно не видались и чувствовали себя в эту минуту так же уютно и хорошо, как когда-то в доброе старое время. Вспомнилась вдруг деревня, Наташа, гимназия, и показалось все кругом беззаботным продолжением прежнего. Лежавший Карташев был для Корнева как бы реальным воплощением этого прошлого, – Карташев, все такой же избалованный и раскинутый, и спутанный и искренний, что-то размашистое и неустойчивое, а в общем все тот же Карташев, который меньше всего сам знал, куда и как ткнет его судьба или то что-то, что распоряжалось им всегда и везде.

Корнев поднялся на локоть и благодушно смотрел на приятеля.

– Первая лекция была, – произнес загадочно и с некоторым достоинством Карташев.

– Ну? – спросил Корнев веселым подмигивающим тоном, которому Карташев не мог противиться.

Он, когда ехал к Корневу, решил умолчать о всех своих разочарованиях.

– Ничего не понял! – выпалил Карташев неожиданный для себя ответ.

Дальнейшие вопросы и ответы происходили в промежутках все более и более подмигивавшего обоим смеха.

– О чем он читал?

– А черт его знает!

– Оой?! Что ж ты будешь делать?

– Куплю сло-о-ваарь!

– Завтра пойдешь?

– Нет!!

Оба приятеля выли и стонали от нестерпимых колик.

Когда наконец водворилось спокойствие, которого страстно жаждали сами несчастные жертвы смеха, Корнев, вытирая слезы, сказал:

– Положительно не помню, когда я так смеялся.

Вечер прошел в разговорах, в куренье, в лежании по очереди на кровати, наконец приятели улеглись рядом.

– В этом доме дают чай? – спросил Карташев.

– Как же, – ответил Корнев, отрываясь от своего обычного занятия – грызения ногтей – и стуча кулаком в стену.

На стук вошла громадного роста краснощекая, в невероятно больших и тяжелых ботинках, простая деревенская баба, нанятая хозяйкой для исполнения обязанностей горничной.

Став как-то боком в дверях и слегка прикрывая лицо передником, Аннушка смотрела так, как будто не сомневалась, что оба вдруг вскочат и, бросившись к ней, начнут ее щекотать.

– Ну? – спросила она, и живот ее вздрогнул.

– Произведение природы, – заметил Корнев и, сосредоточенно постучав пальцем о стену, сказал: – Во!.. Подойдите сюда ближе, мое сокровище...

Горничная нерешительно подвинулась.

– Аннушка, я должен вам сказать, к величайшему моему прискорбию, что вы... Подойдите сюда ближе и не бойтесь: вас никто не тронет.

Аннушка медленно подходила и весело в упор все смотрела на Корнева.

– Что смеетесь?

– Вы неисправимы, милая Аннушка, – сказал Корнев, – вот вам деньги: купите два фунта хлеба и фунт колбасы... самовар поставьте... поняли?

Аннушка взяла деньги и, успокоенная, направилась к двери.

В дверях она остановилась и, весело покосившись на молодых людей, взвизгнув: «Ишь жеребцы стоялые!» – скрылась при новом взрыве смеха.

Аннушка и в продолжение остального вечера не переставала забавлять приятелей своими выходками. В одно из своих появлений, в ответ на новый смех, она подперлась рукой и со вздохом сказала:

– Ну, что ж? я женщина молодая, известно... Что и не поговорить? Муж у меня плохой: хворый да недужный.

И вдруг, перейдя опять в веселый, лукавый тон, она кончила:

– Ишь жеребцы... пра-а...

– Если хочешь, она в своей колоссальности и недурна собой, – сказал Карташев, когда она ушла.

– Ну, – пренебрежительно махнул рукой Корнев.

– Ее бы на арку Большой Морской.

– Вот именно... Что ж, ты так-таки ни с кем и не познакомился в университете?

– Решительно ни с кем, – ответил Карташев.

– А я здесь уже кое с кем свел знакомство.

– Ну?

– Да кто их знает... всё, конечно, наш брат... топчутся они на том же, на чем и мы когда-то...

– Неужели ничего нового?

– Кажется, желание на стену лезть.

– Но ведь это же бессмысленно.

– То есть как тебе сказать...

– Вася, да, ей-богу же, это мальчишество. Прямо смешно... Здесь особенно, в Петербурге, так ясно... Что ж это? Только шутов разыгрывать из себя...

Корнев грыз молча ногти...

– Да, конечно, – нехотя проговорил он. – А все-таки интересная компания, их стоит посмотреть... Оставайся ночевать... Пойдем завтра в нашу кухмистерскую.

– С удовольствием.

– Смудишь ты их разве своим костюмом...

– Что ж такое костюм? Я и перчатки надену.

– Только ты все-таки будь осторожен, а то ведь у них язычок тоже хорошо действует.

– А мне что?

– Сконфузят.

– Ну...

– Есть и барышни...

– Конечно, – все дураки, кроме них?

– Послушай, откуда у тебя вдруг эта нотка? не платки же они таскают из кармана... Нет, ты брось это раздражение...

– Можно создать и более реальные интересы...

– Какие?

– Вот поживем, – ответил Карташев.

Корнев пылливо посмотрел на него и раздумчиво пробормотал:

– Дай бог...

– Вася, согласишься с одним: у них узко... а все, что узко, то не жизнь... Может быть, я и ошибаюсь, но я не хочу верить на слово – я хочу сам жить и убедиться.

– Но что такое жизнь? Надо же ей ставить идеалы.

– Но взятые из жизни.

– А если эта жизнь мерзопакостна?

– Неужели так-таки вся жизнь мерзопакостна? Я не верю... Я иду в жизнь... ставлю свои паруса, и что будет...

– Без компаса?

– Мой компас – моя честь. Я вчера у Гюго читал: он говорит, что двум вещам поклоняться можно – гению и доброте... Честь и доброта, – Васька, право, довольно и этого!

– Посмотрим... Конечно... А интересно – лет через десять что выйдет из нас? Конечно, жизнь не линейка – взял да провел черту... Я вот думаю: что из тебя выйдет?

Корнев подумал:

– Глупое, в сущности, наше время... Развития в нас настоящего нет... В сущности, туман, большой туман у всех...

На другой день Корнев повел Карташева в кухмистерскую.

Прием ему был оказан такой холодный и пренебрежительный, что даже Корнев смутился.

После двух-трех слов с Карташевым прямо не хотели говорить.

Карташев смущенно уткнулся в газету.

Злое чувство охватило Карташева. В это время в столовую вошло новое лицо, при взгляде на которое Карташев так и прирос к полу.

Это был худенький студент, в грязном потертом вицмундире, на плечах и спине которого была масса перхоти, волосы на голове торчали черной копной, косые черные глаза смотрели болезненно и твердо. Черная бородка пушком окаймляла маленькое хорошенькое лицо, но, несмотря на бородку и мундир, это был все тот же маленький друг его – Карташева, друг, которого он когда-то...

– Иванов! – вырвалось из груди Карташева и сейчас же заменилось сознанием и прошлого, и отчужденности своей здесь, в этой кухмистерской.

Иванов внимательно, спокойно всмотрелся в Карташева, как во что-то, ради чего должен оторваться хоть на мгновение от своего главного, что теперь поглощало все его помыслы...

– А-а, Карташев...

Это было сказано так, что Карташев почувствовал, что перед ним стоит чужой человек. Одна страстная мысль овладела им в это мгновение: прочь, скорее прочь отсюда.

– Кончил? – спросил его между тем Иванов.

Кончил, конечно, гимназию...

– Да, кончил, – сухо, испуганно ответил Карташев.

– Куда же? В путей сообщения? – рассеянно спросил Иванов.

Карташев сдвинул брови.

– Хотел, но струсил, – вызывающе ответил он.

– Что же так?

К Иванову один за другим подходили, здоровались и незаметно увели его в другую комнату.

Карташев торопливо одевался.

Корнев молча, уже одевшись, наблюдал его и грыз ногти.

– Ко мне пойдешь? – спросил Корнев.

– Нет, домой, – ответил, не смотря на него, Карташев и, торопя взятого извозчика, с тяжелым чувством поехал прочь от негостеприимных мест Выборгской стороны.

## IX

На вступительном экзамене Корнев провалился на латыни. Тем не менее, судя по предыдущим годам, была надежда, что в академию его все-таки примут.

Неудача подействовала на него самым подавляющим образом. Удачу, неудачу он не признавал.

– Неудачник, – рассуждал он, – это чушь. Есть способности – выбьется человек из всякой мерзости, а нет – значит, чего-нибудь не хватает.

Чего у него не хватало?

Он попробовал развлечься Петербургом, но громадный и чужой Петербург давил и его, как Карташева, внося еще больший разлад в его душевный мир.

Где действительно истина? В этой ли кипучей жизни или в том духовном стремлении к чему-то высшему, чем жил когда-то он и весь кружок его, чем живет большинство тех, которых он видит теперь вокруг себя на Выборгской? Но тогда – отчего в этих кружках почти нет студентов старших курсов? Это как бы подтверждало его мысль, что он уже успел пережить то, что переживается кружком кухмистерской. Но в то же время он чувствовал, что знает о них не все и от него как будто что-то скрывалось.

Таинственная обстановка, которая окружала Иванова, была для него неясна, и он усиленно грыз ногти и думал, думал. Думал, в сомневался, и становился в тупик, кто же он, наконец: практик, идеалист или просто-напросто жалкая, богом обиженная посредственность? Он был уверен, что после экзаменов на него так и смотрели все его новые сотоварищи.

– Ну и черт с тобой! – говорил он сам себе.

Он не хотел сам себя знать, и тем обиднее было, когда в голову лезли разные, в сущности, нелепые, унижительные, даже с его точки зрения, мысли. Он знал их и сам возвращался к ним.

Одна из таких мыслей была о его некрасивой физиономии и о том, можно ли нравиться с такой физиономией женщинам.

Он ходил по улицам, поглощенный своими большими вопросами, и в то же время часто, всматриваясь в лица прохожих, тоскливо думал: «Даже эта рожа лучше моей». Иногда он заглядывал в свое маленькое кривое зеркальце и возмущенно говорил себе:

– Господи, да чтоб с этакой рожей надеяться нравиться, надо быть просто идиотом!

Сомнительным для него было только отношение к нему одной Наташи Карташевой. Как ни отбрасывал он все то, что могло быть отнесено к области его собственной фантазии, все-таки в их отношениях оставались такие мгновения, которые, при всем старании опровергнуть, он должен был истолковать в свою пользу. Но и тогда Корнев возмущенно говорил себе:

– Совершенно непонятное явление, просто один из тех болезненных, капризных моментов, когда именно безобразное лицо может как будто нравиться.

И он задумчиво смотрел в окно.

Там, за окном, день подходил к концу, последние лучи играли в туманном воздухе на далеком куполе Исаакия. Было пусто и в этом уходящем дне, и в комнатке. Какая-то далекая, тихая грусть щемила сердце. Там, далеко, в этом большом городе, словно тонет в тумане, словно замирает размашистая, грандиозная жизнь дня, чтоб с огнями вечера опять вспыхнуть с новой силой в разных театрах, собраниях... Там, в той жизни, какая нужна сила, какая мощь, чтобы выплыть на ее поверхность? Там Карташев, Шацкий уже готовы вот-вот броситься в этот водоворот – и не боятся... а он одинаково робкий и чтобы вместе с ними броситься в этот кипучий поток, и чтобы примкнуть ближе к кружку Иванова... А жить так хочется, и так болит сердце от этой пустоты, от сознания своего бессилия, ничтожества... Улетел бы в эту даль, туда, в позолоту лучей догорающего дня, которые точно неумолчно говорят о чем-то душе, будят и зовут ее из тоскливой пустоты удручающих мыслей о своем бессилии... И такая вся

жизнь! – пустая, скучная, бессильная, раболепная перед каждым нелепым случаем, трусливая пред каждым столкновением, унылая, всегда только грубо ремесленная.

Корнев не заметил, как тихо отворилась дверь и всплыла Аннушка.

Он пришел в себя, когда громадная Аннушка, обхватив его своими объятиями сзади, произнесла вдруг:

– И что он это все думает?

– Убирайтесь вон!!

– Господи! – только успела вскрикнуть Аннушка и скрылась из комнаты.

Корнев не мог прийти в себя от неожиданности и возмущения. Еще только недоставало именно Аннушки! Вот достойная его компания...

Но прошло некоторое время, и Корнев стал думать иначе. Он поймал самого себя на высокомерии и, остановившись, задал себе вопрос: «А почему и недостойна она меня? Что я за паца такал и куда постоянно лезу с суконным рылом? Да, может быть, она, простая, в тысячу раз лучше меня, ломаного, искалеченного, меня, для которого мое дурацкое знание и мой жалкий самосознающий ум только источники вечного унижения? Да, наконец, ну что такое в самом деле Аннушка? Простой, добрый человек, как умеет выражающий свои чувства».

Корнев постучал кулаком в стену.

Когда вошла Аннушка, он ласково сказал:

– Самовар дайте, пожалуйста.

– Ишь как напугал, – весело ответила Аннушка.

Корневу было приятно, что она не поставила ему в вину его резкость.

Когда Аннушка приносила ему поднос с посудой и затем самовар, он хотел быть с ней ласковым, хотел что-нибудь сказать, но не решился, и только, когда та принялась готовить ему постель, он, проходя мимо и слегка хлопнув ее по широкой спине, проговорил:

– Ишь здоровая...

В ответ на это Аннушка, почувствовав, что ветер подул с другой стороны, ответила важно:

– Не балуй.

– Вот как, – фыркнул себе под нос Корнев.

Настал длинный, скучный вечер. Корнев напился чаю, принялся опять было читать, но не читалось; вспомнил о том, что, может быть, придется уехать, прогнал эту мысль и все остальные, которые по ассоциации идей поползли было в голову, и стал ходить по комнате, желая жить и думать только о настоящем. Это настоящее воплощалось в этот вечер в громадной Аннушке. Ее тяжелые шаги, глухо раздававшиеся там где-то в лабиринте темных коридорчиков, раздражали нервы Корнева. Он останавливался, прислушивался и опять ходил. Иногда он точно просыпался вдруг, его охватывало какое-то омерзение, и он быстро садился за книгу. Но опять вставал и опять начинал нервно, тревожно шагать.

Мысль о возможном сближении с Аннушкой охватывала его все сильнее больной истомой. Чувствовалось какое-то унижение в этом, но этого ему и хотелось сегодня. Он ложился на кровать, его грудь тяжело подымалась, кровь, как расплавленная, переливалась в жилах и молотом била в голову. Было уже двенадцать часов ночи. Корнев разделся и потушил лампу. Давно все стихло...

Но вот, чу! точно пол скрипнул... точно тени задвигались по комнате, словно паутина опутала лицо и мысли... Весь охваченный, Корнев протянул руку и наткнулся на голую громадную руку наклонившейся к нему Аннушки...

Пробуждение Корнева на другой день было странное: и легкое и тяжелое. Точно в нем сидело два человека и один пытливо и злорадно спрашивал: «А теперь что?» Другой же равнодушно, пренебрежительно отвечал: «Ничего»...

Он лежал грустный, задумчивый, с каким-то легким в то же время ощущением, – точно несколько лет ему с плеч сбавили.

Дверь отворилась, и Аннушка вошла в комнату. Она была в новом платье, новом фартуке, и на лице ее был праздник. Она остановилась, взялась за бока и вполоборота спросила лукаво:

– А муж? – и тяжело вздохнула.

Корнев, не ожидавший ничего подобного, лежал и растерянно молчал, угрюмо сдвинув брови.

Но Аннушка, у которой переходы были быстры, уже вытирала передником губы и веселым голосом говорила:

– Ну, поцелуемся... Сегодня ведь мой рожденный день...

Она наклонилась к Корневу и толстыми мягкими губами, с ароматом своей деревенской избы, залепила Корневу сразу и губы, и глаза, и весь мир, поставив его властно только перед собой одной – колоссальной Аннушкой.

– Хорошенький ты мой! – тихо прошептала она и со вздохом удовлетворения вышла из комнаты, оставив свою жертву пластом лежать на кровати, с закрытыми глазами.

Корнев долго лежал.

– Ну, все равно, – облегченно сказал он наконец, поднялся и начал быстро одеваться.

Напившись чаю, он вышел на улицу. День был на славу. В академии Корнева ждала приятная новость: он был зачислен в число студентов.

## Х

Карташев сделал еще несколько попыток одолеть лекции энциклопедии, достал даже Гегеля, собираясь читать его в подлиннике, но все это как-то ни к чему не привело. Он кончил тем, что перестал посещать лекции знаменитого профессора, а Гегель так и лежал почти нетронутый, пугая Карташева своим видом.

Лекции других профессоров также не привлекли к себе его внимания.

Римское право показалось ему продолжением латинского языка и во всяком случае таким, которое требовало простой зубрежки, а потому Карташев и решил, что время, потраченное на слушание, можно провести производительнее, посвятив его прямо зубрению всяких латинских текстов римского права.

Приступить к этим текстам он все и собирался изо дня в день.

Русское право было понятно, но профессор читал тихо и снотворно, и на Карташева нападала такая неожиданная дрема, что он перестал посещать и эти лекции, объясняя свое отсутствие на них страхом заснуть и тем поставить себя в безвыходное положение.

«Зачем я буду рисковать скандалом? Лучше же дома прочесть: благо слово в слово читает».

Наконец, лекции государственного права пришлось по вкусу Карташеву, но здесь уж были другие причины, по которым он редко бывал на них. Во-первых, чисто финансовые – посещение университета стоило денег: извозчик, завтрак с бутербродами... Во-вторых, из трех лекций в неделю по государственному праву две начинались в девять часов, то есть как раз в то время, когда Карташеву невыносимо хотелось спать. А в-третьих, литографированные лекции и по государственному праву существовали, следовательно, и их можно было прочесть.

Понемногу Карташев так разоспался, что вставал часов в одиннадцать. Вставши, пил чай, читал газету и задумывался над тем, что ему предпринять: сесть ли за лекции, написать ли домой письмо или заглянуть в университет? Последнее наводило на мысль о финансах, и он с тоской в душе начинал пересчитывать свои капиталы. Их невероятное уменьшение повергало его в новое уныние. Он садился составлять еще новую смету. Но сколько-нибудь вероятная смета уже настолько превышала наличность, что Карташев скоро бросал это дело и шел обедать. После обеда читал газету, валялся на диване и нередко засыпал, укрытый газетой.

Вечером он пил чай, и если не приходил Ларио, то отправлялся в театр скромно, – куда-нибудь в галерею.

Если же заходил Ларио, то они сидели, разговаривали, а иногда отправлялись вдвоем на вечерние прогулки по Вознесенскому и Мещанским. Тихий, сдержанный и молчаливый, Ларио делался бойким на улице, его «го-го-го» звонко несло по Вознесенскому, он заигрывал с проходившими девицами полусвета, подпрыгивал перед ними, визжал и бойко неестественным голосом парировал их замечания.

Ларио не раз звал Карташева отправиться к Марцынкевичу, но тот от такого посещения наотрез отказывался.

– Почему же? Ведь там тебя же... Странно...

Ларио коробило, как он говорил, «жантильничанье»<sup>4</sup> Карташева. Он шутивно кипятился и фыркал, затрудняясь объяснить Карташеву безопасность такого посещения для него.

– Ведь ты же не девушка, наконец.

Ларио презрительно пускал свое «го-го-го».

Кончалось тем, что Ларио говорил:

– Ну и черт с тобой, я бы пошел, если бы у меня была рублевка.

---

<sup>4</sup> жеманство (от франц. *gentil*).

– Возьми, – предлагал Каргашев.

После некоторого колебания Ларио брал.

– Как получу урочишко, первое, Тёмка, что сделаю, – куплю почетный билет в Марцынку... билет три рубля стоит, и тогда за вход всего двадцать копеек, а так – по рублику каждый раз пожалуйста.

– Если хочешь, возьми три.

– Ну, что ты! Да я вот сегодня только, а там до урока – ни-ни...

## XI

Прошел месяц со дня приезда Карташева в Петербург.

Как-то раз выходя из конки, скучавший и томившийся Карташев встретился неожиданно лицом к лицу с долговязым Шацким. Шацкий, расставив ноги, весело смотрел на Карташева: тот же шут, несмотря на путевскую фуражку, с маленьким румяным лицом, веселый и возбужденный. Карташев очень обрадовался ему.

– Здравствуй, здравствуй, – заговорил снисходительно Шацкий.

Карташев, хотя и не был с ним на «ты», ответил ему весело:

– Здравствуй!

– Ну-с, мой друг, как поживаешь? – спросил покровительственно Шацкий. – Откуда?

– С лекций.

– О! Куда теперь?

– Обедать.

– К Детруа, конечно?

– Да.

– Да, да... Ростбиф из конины, огурцы с купоросом... да, да. Твой живот?

– Каждый день понос.

– Да, да: пока ешь – вкусно; кончил, в брюхе кол, через полчаса после обеда опять есть хочется, а вечером расстройство... Соппи...<sup>5</sup>

Карташев рассмеялся.

– Совершенно верно.

– Ну, вот что, мой друг, – продолжал Шацкий, – не хочешь ли сегодня отобедать со мной у Мильбрета, – на четыре рубля дороже в месяц, но сохраняется желудок...

– Что ж, с удовольствием.

– В добрый час! Так что ж, возьмем извозчика... эй, ты, Мильбрет – гривенник...

Извозчик не согласился.

– Пятиалтынный...

– Дай ему...

– Ни за что!

Извозчик был наконец нанят.

– Я, знаешь, – начал Шацкий, садясь и принимая тот шутовской тон, за который так недолюбливал его Корнев, – долго колебался – где абонироваться... хотел у Дюссо, но там хуже...

Карташев усмехнулся.

– Ну, конечно...

– Чтоб ты знал, что хуже, – быстро и опять естественным тоном заговорил Шацкий, – я тебе открою, в чем тут секрет: Мильбрет скупает придворные обеды, а согласишься, мой друг, что эти обеды лучше всяких твоих Дюссо... очень, очень мило. При моем желудке, знаешь, – Шацкий опять впал в шутовской тон, – немного изнеженном после вод в Спа, наконец, при моем положении, знаешь, эти друзья: маркиз де Ривери, барон Гавен и много других – это всё добрые ребята – неловко, знаешь, когда зайдет разговор об обеде, и скажут вдруг: «А вы заметили, какое оригинальное фрикасе сегодня было?» И вдруг стоишь как дурак – где фрикасе, какое фрикасе?!

Шацкий уже на выпускных гимназических экзаменах завоевал себе право говорить и действовать так, как ему заблагорассудится. Здесь, в Петербурге, где он уже успел и доказать

---

<sup>5</sup> Известно... (франц.)

свои способности, поступив вторым в трудное по приему заведение, и выглядел, кажется, единственным веселым человеком, – этот Шацкий производил на Карташева впечатление уже не того идиота, каким окрестил его Корнев. Теперь это был, правда, шут, но остроумный (с этим соглашался и Корнев) и главное – без претензии человек.

Карташев давно уже держался за бока от смеха.

– С тобой, однако, очень весело, – проговорил он. – В гимназии...

– Все это прекрасно! – ответил небрежно Шацкий. – Только оставь, ради бога, гимназию... При моих нервах гимназия – это плохое лекарство. Забудем ее, мой друг, и всех этих Корневых, Долб... Мы с тобой «high life»<sup>6</sup>, ты, надеюсь, знаешь, что значит это слово? Ну, конечно. Но еще выше этого есть. Du chien, hanche! А мне необходимо ехать в Париж на скачки, мой друг Nicolas... Ну, ты, конечно, знаешь, кто это именно?

Шацкий посмотрел на опешившую немного физиономию Карташева и залился сам веселым смехом.

Карташев рассмеялся.

– Parfait, mon cher!<sup>7</sup> из тебя выйдет толк. Я люблю таких, которые смеются, когда ничего не понимают. Не торопись обижаться – ты позже поймешь смысл моих слов. Да, мой друг, жизнь – это большая загадка, и дурак тот, кто тратит время на ее разбор, потому что, пока он вникнет в суть, жизнь пройдет у него между пальцами, и он только: а-а-а... как Вася, твой Корнев. Если б он здесь был, он погрыз бы ногти и сказал: «Да, это верно», – и прибавил бы: «А впрочем, я, может быть, и ошибаюсь»... c'est ça<sup>8</sup>. Таковы все мудрецы от Фалеса до Тренделенбурга, которых ты теперь изучаешь и, конечно, ни в зуб не понимаешь – сопни, сопни! Все они начинают с того, что отрицают предшественника; с важным видом нагородив всякой ерунды, умирают, а ты зубри их... твоё положение грустное, мой друг... Бытие, небытие, становление – и вдруг, трах, абсолют... A fichtre a blic!<sup>9</sup>

– Откуда ты все это знаешь?

– Мой друг, оставь это. Revenons a nos moutons<sup>10</sup>, как говорил мой друг Базиль... ты, конечно, знаешь моего друга Базиля?

– Я должен тебе откровенно сказать, – сказал Карташев, – что хотя ты и ерунду несешь, но я с удовольствием тебя слушаю.

– Да, да. Ты всегда был немного наивный, но добрый мальчик, хотя тебя и портит Корнев... О чем бишь я говорил?.. Может быть, перед обедом ты хочешь, как делают мои друзья, захватить поесть устриц или навестить Альфонсину? Ты, пожалуйста, не стесняйся, мой друг: мой экипаж к твоим услугам.

– Едем уж прямо к Мильбрету.

– Как хочешь, как хочешь! А напрасно! Этим не следует пренебрегать. Это очень важно, эти мелкие приличия, эти условия хорошего тона – свет не прощает их: ces petits riens qui ne valent rien, mais qui content beaucoup. Ид faut prendre, mon cher<sup>11</sup>, там за кулисами ты можешь делать что хочешь, но на сцене... Моя покойная приятельница, princesse Natalie... – ты, конечно, ее не знаешь?.. нередко говорила мне: «Michel, прошу тебя во имя моей памяти, никогда не забывай, что свет...» Да, да, бедная Natalie, ты умерла, а я остался... да, остался... что делать, мой друг. Faisons notre metier<sup>12</sup>, как говорил старикашка Виль. Кстати, ты, конечно, знаком с генералом Шайницем? Как? Ты не знаком? Мой друг, ты ставишь меня в неловкое

<sup>6</sup> высший свет (англ.).

<sup>7</sup> Прекрасно, дорогой мой! (франц.)

<sup>8</sup> вот именно (франц.).

<sup>9</sup> Черт возьми! (франц.)

<sup>10</sup> Вернемся к нашим баранам (франц.).

<sup>11</sup> эти пустяки, которые ничего не стоят, но дорого обходятся. Нужно быть осторожным (франц.).

<sup>12</sup> Займемся своим делом (франц.).

положение... что же я скажу моим друзьям? Он не знаком! Впрочем, ничего, успокойся: дело можно поправить... Я устрою охоту. Я позову его... Там вы познакомитесь... Но, мой друг, прошу тебя: забудь ты на это время о своих деревнях: все эти вассалы, деревенские развлечения, поездка летом на санях, когда вместо снега посыпают соль, – все это вышло из моды, и ты никого не удивишь... Все знают, что вся Волынская губерния твоя... к чему же об этом распространяться? Вот если ты привезешь нам одну из твоих красавиц вассалок – этим ты много выиграешь... Но и это, как и все, мой друг, надо делать с тактом, очень тонко, *mon cher*. Ради бога... Я уж вижу... Тыходишь с ней в ложу... О мой друг, кто же так делает?! Ради бога! оставь ее... Ты с ней не знаком!! пойми, ты с ней не знаком!! Пусть она входит в ложу, пусть садится, делает, что хочет, – ты ее не знаешь до тех пор, пока граф Иван не скажет тебе: «Обратите внимание... Литера справа...» Мой друг, мы, люди большого света, мы ленивы на слова... Но я уж вижу, ты обрадовался... и с деревенской наивностью выпаливаешь, что это твоя вассалка... Ну, и пропало все... Ну, кто же так делает? Когда ты перестанешь меня компрометировать?! Я же не могу, ты пойми, пожалуйста, что я не могу! Я очень рад, что этот разговор пришел мне в голову именно теперь... Постарайся, если можешь, запомнить, что я говорю... А, это большое несчастье. Ваши деревенские головы устроены, как решето; эти грубые вещи: медведи, удобрение – остаются, но все эти тонкости проходят через вашу голову, как вода... Я понимаю, вы несчастные люди, запоминать вам наш этикет гораздо труднее, чем Бисмарку подчинить себе весь мир – вы напрягаетесь, стараетесь, но это не в вашей силе... но, мой друг, кураж, кураж<sup>13</sup>, зачем падать духом? Немножко воли... Наконец, ты можешь быть немножко и оригиналом. Свет допускает это... Ты можешь взять бриллиант Nicolas и сказать: «Хорошая вода...» Потом расстегнуть сюртук и небрежно приложить его к пуговицам своей жилетки... пуговицы, конечно, бриллиантовые... в три раза больше; потом, опять посмотрев, небрежно скажешь: «Хорошая вода», – положишь... Это будет, конечно, немного грубовато, по-деревенски, но оригинально... Да, мой друг, знание света – это дается не всякому... А впрочем... все это не важно... У тебя много денег?

Этот неожиданный оборот смутил Карташева.

– Тебе это на что?

– Мой друг, прими себе за правило: когда тебя спрашивают, то не для того, чтобы получить в ответ глупый вопрос, – это провинциальная и даже мещанская манера.

– Не находишь ли ты, что ты как будто впадаешь немного в нахальный тон? – спросил Карташев, сдвинув брови.

– Ты думаешь? – переспросил Шацкий и со вздохом умолк.

– Надеюсь, тебя не очень обидело мое замечание? – проговорил Карташев.

– Не будем больше говорить об этом, – меланхолично и рассеянно ответил Шацкий. – Если бы меня обидели твои слова, я должен бы по нашим правилам сейчас же расстаться с тобой, и завтра утром мой друг Nicolas просил бы тебя сделать ему честь указать кого-нибудь из твоих друзей, с которыми он мог бы условиться относительно остального. Затем, в назначенный час, мы съехались бы в условленном месте, в черных, наглухо застегнутых сюртуках, протянули бы друг другу руки, как будто между нами ничего не произошло, и пока наши друзья заряжали бы пистолеты, мы говорили бы с тобой о погоде, о последних скачках, о мисс Грей... Ты знаешь ее? Рыжая? как собака, мохнатая, грязная, как свинья, ест обеими руками арбуз...

– Что ж тут красивого?

– Мой друг, ты ничего не понимаешь. Пойми, нам надоело это *ingenue*<sup>14</sup>, нам нужно что-нибудь этакое, острое... *Du chien*...<sup>15</sup>

<sup>13</sup> смелей (от франц. *courage*).

<sup>14</sup> простодушие (франц.).

<sup>15</sup> С перцем... (франц.)

Шацкий помолчал.

– Ну и что ж? Ты скучаешь, томишься, по двадцати листов пишешь письма, врешь, конечно, что не отрываешься от лекций, и делаешь тонкие намеки, чтоб прислали денег? Пожалуйста, только не конфузься и старайся не врать... Побольше простоты. Оставим провинции ложь... Между порядочными людьми это не принято... Если бы я своим родным не писал о моих друзьях и занятиях, я не имел бы никакой надежды на примирение...

– Неужели ты пишешь им о всех этих графах и князьях?

– Что в этом тебя удивляет? Имена моих друзей не такие, что могли бы меня компрометировать в глазах моей родни... Только одно и смущает меня, что в конце концов забуду и перепутаю все эти фамилии...

И Шацкий залился самым веселым смехом.

– И верят? – спросил Карташев.

– Что за вопрос?! Я им и карточки послал с надписью. Ты понимаешь? Для поддержания таких знакомств нужны средства. Кстати, дай мне твою карточку и надпись сделай по-английски... Впрочем, зять знает твою руку, да и пишешь ты... Всё лишние расходы.

– На покупку карточек?

– Мой друг?! Три рубля пятьдесят копеек уже истратил. Последнего моего друга послал в шотландском костюме, кажется, Байрона...

– Но ведь отец твой, кажется, образованный человек.

– Дядя – да, а отец тридцать лет сеет хлеб, разводит свиней и выезжает лошадей. Газет ни-ни, и тридцать лет никуда из деревни, понимаешь?

В это время извозчик подъехал к Мильбрету. Большие комнаты, масса народу смутили Карташева. Заметив, что Карташев конфузится, Шацкий старался очень осторожно помочь ему справиться со своим смущением, принес целую грудку газет, подавал ему первому блюда и вообще оказывал столько мелочного внимания и так просто, без принуждения и подчеркивания, точно и сам не замечал, что делал. Карташев был очень тронут этой любезностью и думал: «Оригинал большой, но очень симпатичный. Корнев хороший человек, но у него есть известная предубежденность, которая мешает ему видеть вещи в их истинном свете. Он сам не замечает, как требует, чтобы все были по одному шаблону сделаны. Это, конечно, невозможно, с этим надо считаться. У каждого свое особенное. Я беру симпатичное, а до остального мне дела нет. Мне Шацкий симпатичен, и я не вижу основания уничтожать в себе эту симпатию. Да и какое наконец право я имею воображать себя почему-то выше и колоть этим глаза? А может быть, этот Шацкий гораздо выше меня, добрее и...»

Карташев хотел сказать – честнее, но вспомнил проделки Шацкого с родней.

«И тут не его вина – кто их там знает, какие у него отношения с родными и что они за люди. Да, наконец, не в жены же я его брать хочу. Мне доставляет удовольствие его общество... Одиночество невыносимо для меня, – я томлюсь, бегаю по всему городу, высунув язык от тоски, отвыкаю от своего голоса... Нет, окончательно решено – я сближаюсь с Шацким».

И Карташев открыто и ласково посмотрел на Шацкого.

– Мы очень редко с тобой видимся, а между тем, наверное, оба скучаем – я был бы очень рад, если бы мы видались почаще.

– Мой друг, за чем же дело стало? – ответил Шацкий и, церемонно встав, протянул руку Карташеву. – Может быть, поедем ко мне чай пить?

– Поедем лучше ко мне... Я жду письма.

– С удовольствием.

Новые друзья вышли на улицу, взяли извозчика и поехали к Карташеву.

Войдя в комнату Карташева и сняв пальто, Шацкий сел на диван и, качая пренебрежительно головой, заговорил:

– Так, так... образец петербургской квартиры, пять дверей в одной комнате и трескотня и резонанс такой, точно сидишь в табакерке с музыкой... Ничего нет удивительного, что десять, пятнадцать лет – и человека везут в сумасшедший дом... А впрочем, некоторые застрахованы от этого... твоего Корнева не свезут... Он, подлец, сам свезет. Не будем говорить об этом: это грустные мысли. Чай есть?

Карташев распорядился.

– Ну, что же, устроился? – спросил Шацкий и стал осматривать хозяйство Карташева. Он подошел к столу и небрежно тронул неразрезанные лекции Карташева.

– Наука не процветает... Да, да, надо немного забыть гимназию, чтобы опять какой-нибудь интерес почувствовать к этой несчастной науке... Небольшой, впрочем... Всё те же десять тысяч слов... Но скажи, к чему у тебя все эти ковры, скатерти, столовое белье, для чего это студенту? Это видно, что с политической экономией ты еще не знаком... Всех денег назад не выручишь, но третью часть можно получить.

– Заложить?

– К чему такое беспокойство? – Шацкий заглянул в окно. – Постой... Как раз он.

– Кто?

– Татарин...

Шацкий высунулся в форточку и крикнул татарину номер квартиры.

– Послушай... – начал было Карташев.

– Так ведь не захочешь продавать и не продашь, а цену на всякий случай узнаешь...

Татарин пришел, и Шацкий, быстро поворачиваясь, живой, сосредоточенный, стал ему показывать вещи, объяснял, врал про их стоимость и раздражил в конце концов аппетит татарина настолько, что тот настойчиво стал предлагать за все отобранное тридцать два рубля.

– Ну, тридцать пять или убирайся к черту, – решительно проговорил Шацкий.

Карташев протянул руку за деньгами.

– *A la bonne heure*<sup>16</sup>, – произнес Шацкий, облегченно вздыхая.

– Еще нет ли чего? – спросил татарин, увязав все.

– Нет, нет, иди, – замахал Карташев.

Когда татарин ушел, Шацкий сказал:

– Домой, конечно, не напишешь...

– Конечно, напишу, – недовольно перебил Карташев.

– Напрасно.

– Оставим этот разговор.

– Как тебе угодно.

– Мне, правду сказать, немножко неприятна вся эта продажа.

– Ну, стоит ли, мой друг, на таких пустяках останавливаться... с твоим сердцем и умом. *Escoute*<sup>17</sup>, едем к Ларио... Сегодня этот негодяй заходил ко мне, но не застал: это неспроста...

---

<sup>16</sup> В добрый час (*франц.*).

<sup>17</sup> Послушай (*франц.*).

## XII

Дела Ларио были плохи.

Восемнадцать рублей, с которыми он приехал в Петербург, разошлись очень быстро. «Из дому» он ничего не получал, потому что единственная его родня – сестра – неожиданно овдовела и с четырьмя детьми осталась на такой ничтожной пенсии, что сама нуждалась в самом необходимом.

Надежды на урок тоже были на воде вилами писаны. При таких условиях никакие общие планы не лезли в его голову, и когда товарищи задавали ему в этом роде вопросы, Ларио начинал смущенно и оживленно подергивать плечами, разводил руками и говорил:

– Мой друг... ну, ну что ж тут думать о том, что будет послезавтра, когда завтра я, может быть, подохну с голоду.

И он смущенно пускал свое «го-го-го», закладывал вещи, пока было что закладывать; кое у кого брал займы, если предлагали. Иногда он приходил в гости, целый день ничего не евши, и если ему не догадывались предложить поесть, то и он не говорил о том, что голоден. По его красному лицу и по оживлению трудно было и догадаться, что человек сегодня ничего не ел. Но если его спрашивали:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.